

Вихри обнаруживають, кто такой незнакомецъ . . . Вихри и „вовъ софистикъ“ — какъ лейтмотивъ (обычный бѣловскій пріемъ!) сопровождаютъ Владимира Соловьевъ . . . Но вѣдь Соловьевъ спицъ на кладбищѣ монастыря. Тѣмъ сладостнѣе встрѣча, преодолѣвающая Смерть,

„Проснулась — на Дѣвичьемъ Полѣ  
Знакомымъ передрогомъ ширь:  
„Извозчикъ!.. Стой... Со мною, что-ла?  
„Въ Новодѣвичій монастырь...  
— „Да чтобъ тебя: сломаешь сани!“  
И снова зовъ — знакомыхъ словъ:  
— „Тамъ — день свиданій, день возстаній  
— Ты кто?“ — „Владимиръ Соловьевъ“.

Видѣніемъ, расторгающимъ Смерть, заканчивается поэма.

Петроникъ.

Юрій Никольський. Тургеневъ и Достоевскій. (Исторія одной вражды). Софія, Русс. — Болг. Книгоиздат. 1921).

„Вражда“ Тургенева и Достоевскаго можетъ быть предметомъ изученія съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ: какъ біографической эпизодъ, какъ моментъ въ развитіи русской общественности, какъ психологическая загадка, наконецъ. И вотъ при чтеніи книжки Ю. А. Никольского все время кажется, что авторъ соединилъ подъ одной обложкой черновые наброски отдѣльныхъ главъ, писанныхъ каждая съ новой установкой. Изложеніе пестрить выписками и цитатами, мозаически межъ собой „цементированными“, но не срошенными органически въ цѣлостное изображеніе. Въ построениі есть, правда, свой центръ тяжести, но болѣе по задачѣ, чѣмъ въ выполненіи. Авторъ пытается вскрыть глубинные корни психологического конфликта, возведя его къ „волевой противоположности“, къ „бытіевой“ (Sic! „бытійной“?) полярности двухъ существъ. Совершенно справедливо опредѣлять Тургенева, какъ „детерминиста“, а Достоевскаго, какъ исповѣдника свободы воли, и сопоставлять это съ безсиліемъ, безхарактерностью первого и активностью (хотя бы только потенциальной) второго. Но характеристика, даваемая Никольскимъ, слишкомъ схематична, направлена, такъ сказать, на вѣкопытныя глубины „интеллигигельного характера“, на душу *an sich*, тогда какъ психологически-объяснительное значеніе можетъ имѣть лишь „эмпирический характеръ“. По этой причинѣ авторъ не схватилъ пункта пересѣченія отдѣльныхъ воззрѣній Тургенева, возбуждавшихъ отталкиваніе въ Достоевскому: атеизма, руссофобства и германофильства. Несомнѣнно, что „раздрѣжалъ“ Достоевскаго самъ живой Тургеневъ, а не тѣ или другія его мысли. Ю. А. Никольскій самъ это отмѣчаетъ, и все же не уѣзжаетъ попытки показать, какъ же представлялся Достоевскому

— Тургеневъ-человѣкъ, ограничиваясь поверхностными замѣчаніями о „завистливыхъ“ чувствахъ къ барину, помѣщику, баловню судьбы и пр. Отъ этого остается неяснымъ „каррикатурный“ образъ Кармазинова: историко-литературная сопоставленія, весьма любопытныя, не могутъ замѣнить раскрытия и освѣщенія того процесса, въ силу которого живыя впечатлѣнія отъ дѣйствительного лица претворились въ художественный лже-портретъ. „Столкновеніе личностей — событие ирраціональное“, и этого нельзя обойти простою ссылкой на неизбѣжность схематического подхода; схемы бываютъ разныя, полезныя и вредныя, и авторъ, по нашему мнѣнію, неудачно выбралъ путь изолирующей абстракціи тамъ, где ельдовало прибѣгнуть къ сочувственной интуїціи. Страннымъ образомъ, онъ совершенно обходитъ то обстоятельство, что не съ однимъ Достоевскимъ поссорился и враждовалъ Тургеневъ, а и съ Толстымъ, и съ Герценомъ, — это одно уже должно было подскажать, что въ самомъ „эмпірическомъ обликѣ“ Тургенева крылось что-то такое, что толкало на разрывъ. Это была та самая оскорбляющая *suffisance* „линичащаго“ западнаго человѣка, которая дѣлала Герцену непосильной жизнь на „тинистомъ“ Западѣ и съ которой, въ Карлсруэ или Буживалѣ, привольно уживался Тургеневъ. И если слѣдовать настоящему Тургенева, — „судить не по одностороннимъ извѣтамъ, а по результатамъ цѣлой жизни и дѣятельности“, то нельзя замолчатъ того отталкиванія, которое внушилъ Тургеневъ заразъ тремъ геніальнѣйшимъ (именно въ качествѣ людей) изъ своихъ современниковъ. То, что Герценъ писалъ потомъ Чичерину, онъ смѣло могъ бы адресовать Тургеневу, въ дополненіе къ сверкающимъ страницамъ „Концовъ и Началь“: „Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы . . . знаете, что если прошедшее было такъ и такъ; настоящее должно быть такъ и такъ, и привести къ такому-то будущему. . . Вы . . . знаете, куда идти, куда вести“. Конечно, это — „детерминизмъ“, но не въ видѣ отвлеченныхъ формулъ, какъ и не въ видѣ „онтологического“ — „ноумenalнаго“ ядра личности, а въ видѣ той незримой атмосферы, которую человѣкъ носитъ повсюду съ собой, и которая сквозитъ во всякомъ его словѣ и жестѣ, въ самой его походкѣ. Въ данномъ случаѣ этотъ „детерминизмъ“ проявляется у Тургенева въ его доктринерской вѣрѣ въ *genus europeum* и несомнѣнной принадлежности къ ней русского народа, и въ тѣхъ легковѣсныхъ пожеланіяхъ и оцѣнкахъ, которыя она подсказывала ему по отношенію къ злобамъ дня, въ поверхностномъ и легкомысленномъ *train'ѣ* жизни. Вотъ что возмущало Достоевскаго, какъ и Толстого и Герцена — безответственность Тургенева за себя въ его собственныхъ глазахъ. На этой глубинѣ изслѣдователь и долженъ остановиться, стараясь найти психологические корни конфликта; тогда онъ, дѣйствительно заразъ избѣгнетъ и пошловатаго анекдотизма, принимающаго поводы и симптомы за причины, и абстракт-

наго схематизма „вешей въ себѣ“, не „объясняющаго“ ровно ничего.

„Вражда“ Тургенева и Достоевского не была только иррациональнымъ столкновенiemъ полярныхъ человѣческихъ монадъ; какъ историко-бытовой фактъ, она была обнаруженiemъ глубокаго психологического расщепленія русской „интеллигенціи“ — не „знавшихъ опредѣленно, куда идти, куда вести“ и не искавшихъ пути. Не вокругъ „теоретической“ проблемы свободы birthались непріязненные порывы, а вокругъ практическаго вопроса — что лѣтать? Не случайно „западники“ отвѣчали въ сущности — „ничего“: вѣдь *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*. вѣдь есть — „прогрессъ“ и *genus euторaeum*. Не одинъ Тургеневъ быть „трусомъ“; вспомнимъ — отъ Грановскаго горячо любимаго, нѣжнаго „благороднаго“, Герцена властно откинула его „боязнь консеквентности“, его желаніе во что бы то ни стало помирить для своего интимнаго обихода расплывчатую вѣру въ Бога и атеистическую мудрость лѣваго гегельянства. Эту черту совершенно вѣрно передалъ Достоевскій въ образѣ Верховенскаго, вся карикатурность котораго зависитъ только отъ слишкомъ рѣзкаго нажима кисти въ проведеніи контуровъ и линій. И неужели совмѣщеніе въ одномъ литературномъ замыслѣ этихъ двухъ „шаржей“ не навело автора на мысль, что здѣсь выражалась борьба Достоевскаго съ цѣлымъ „направленіемъ“?

„Судить“ и понять непривлекательный конфликтъ: Тургеневъ—Достоевскій — можно, конечно, лишь „по результатамъ всей жизни и дѣятельности“, но это значитъ не перечислить всѣ „факты“, а — раздвинуть перспективы. Ю. А. Никольскій упустилъ прекрасный случай на примѣрѣ обнажить корни „вражды“. Сравнимъ „Отицы и дѣти“ съ „Бѣсами“. Объектъ — все тотъ же рускій нигилизмъ. Но могъ ли, — безразлично, какими мнѣніями взаимно обмѣнялись писатели по поводу этихъ произведеній, — въ глубинѣ души тотъ, кто видѣлъ подъ покровомъ убогой русской дѣйствительности бѣсовскія силы, обуревающія смертныя души, не „разойтись“ съ тѣмъ, кто видѣлъ только Базарова и Кукшину??\*)

Г. В. Ф.

## СПИСОКЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ВЪ РЕДАКЦІЮ ЖУРНАЛА „РУССКАЯ МЫСЛЬ“ ДЛЯ ОТЗЫВА.

Зарницы. Русскій національный еженедѣльникъ. Софія.

Зеленая Палочка. № 5—6. Изд. „Сѣверъ“, б. о. г. стр. 60.

Д-ръ Г. А. Зивъ. Троцкій. Изд. Народоправство Нью-Йоркъ 1921, стр. 96.

\*) Намъ вопросъ о духовномъ соотношеніи Достоевскаго и Тургенева предстаетъ гораздо болѣе сложнымъ, чѣмъ автору. Тургенева вообще нельзя понять, не вдумавшись въ его классическую переписку съ Герценомъ.

Р е а.